

Ты не гнушался никаким трудом:
«Чернорабочий я — не белоручка!» —
Говаривал ты нам — и напролом
Шел к истине, великий самоучка!

Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил об народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе...

Недаром ты, мужая по часам,
На взгляд глупцов казался переменчив,
Но, пред врагом заносчив и упрям,
С друзьями был ты кроток и застенчив.

Не думал ты, что стоишь ты венца,
И разум твой горел не угасая,
Самим собой и жизнью до конца
Святое недовольство сохраняя, —

То недовольство, при котором нет
Ни самообольщенья, ни застоя,
С которым и на склоне наших лет
Постыдно мы не убежим из строя, —

То недовольство, что душе живой
Не даст восстать противу новой силы
За то, что заслоняет нас собой
И старцам говорит: «Пора в могилы!»



И. Г. КУЛЖИНСКИЙ

Н. А. Полевой и В. Г. Белинский

Было время, когда у нас не было ни «прогрессистов», ни «консерваторов», но были — просто — умные и мыслящие люди, которые были убеждены в необходимости и пользе просвещения

и из которых каждый приносил для просвещения посильную от себя лепту. Нельзя сказать, чтоб над такими нашими любителями просвещения лежал уровень посредственности и чтоб между ними не являлись, время от времени, великие таланты. Но такие таланты не начинали своего поприща с отрицания, а всегда, сколько помнится, заявляли себя пред публикой посредством своих положительных трудов и достоинств. Иногда они опережали своих современников и прокладывали новую дорогу вперед; но на них никто не сердился, потому что они никого не озлобляли своим высокомерным отрицанием, — напротив того, за ними увлекались все, и юноши и зрелые мужи, — и таким образом мы, в былое время, хотя не черезчур шибко, но все-таки двигались вперед. Державин не враждовал против Карамзина, но говорил ему: «Пой, Карамзин, — и в прозе глас слышан соловьи». Карамзин приветствовал первые звуки лиры Жуковского и постоянно был ему другом. Жуковский не стыдился признать себя «побежденным учителем» пред гениальным учеником, Пушкиным; а сей последний поэтически-очаровательно и математически-верно оценил своего учителя, сказавши, что

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль:
Внимая им, вздохнет о славе Младость,
Утешится безмолвная Печаль,
И резвая задумается Радость.

Насмешники, пожалуй, назовут все это «методом взаимного восхваления»; но... из чего же не можно смастерить карикатуру — наипаче в нынешнее карикатурное время?.. Дело в том, что в гражданском нашем быту, начиная с реформы Петра Великого, и в литературно-ученом быту, начиная с реформы Ломоносова, у нас до 1825 года не было застоя: хотя медленно, но мы все-таки шли вперед, не употребляя слова «прогресс», и не превозносились именем «прогрессистов», но всегда прогрессировали.

С началом 1825 года явился у нас «Московский телеграф», литературный журнал, издаваемый Н. А. Полевым. Когда узнали, что Полевой не магистр, не кандидат и даже не коллежский регистратор, но просто купец-самоучка, знающий иностранные языки, много читавший и бойко пишущий, то внимание к его журналу было возбуждено большое. Полевой, с первых книжек «Телеграфа», объявил войну прежним литературным авторитетам и, принявши критику в постоянный отдел своего журнала, сделался страшным бичом для

всего того, что казалось ему бездарностью или посредственностью. Смелость приговоров его приобрела ему многих друзей и — врагов. Чтобы оправдать название «Телеграфа», он целыми горстями рассыпал пред своими читателями новые мнения европейских мыслителей о философии, литературе, истории и изящных искусствах. Имена Вико, Гердера, Тьери, Гизо, Нибура и других корифеев западных не сходили с его пера. И друзья и враги Полевого соглашались, что он был не дюжинный человек, с большою памятью и трудолюбием, с способностью схватывать верхушки со всего и передавать другим все то, что он схватывал в чтении, — а читал он, кажется, все новое, что тогда выходило из типографских станков западной Европы. Он сам говорил о себе очень серьезно, что «он один стоял на страже европейских идей». Сочувствие Полевому в толпе было у нас всеобщее. «Мы получаем “Телеграф”», — этими словами в провинциях тогда не шутя доказывали свои права на современное образование.

Нельзя сказать, чтоб не было хорошего в трудах и порывах Полевого; нельзя сказать, чтоб не принес он пользы, давши толчок молодому поколению и примером образованного купца-литератора пристыдивши многих *боярчуков*, отстававших от современного образования. Но... он же первый начал собою длинный ряд так называемых «*наших прогрессистов*», отличающихся односторонностью, и олицетворял в себе почти все типические черты этого *современного* нам человека. Главные черты этого типа у нас следующие: смелость, — искусство схватывать, налету и без всякой проверки, новые идеи, — недовольство ничем прошедшим, а настоящим, — пристрастие ко всему иноземному потому только, что оно не наше, — самоуверенность, нетерпящая никаких противоречий, — недостаток времени или охоты доучиться, — начитанность без системы, — чрезмерное презрение к прежним авторитетам и заносчивое обещание проложить новую дорогу, — предприимчивость свыше сил и богатые посулы без исполнения. А в результате всего этого — постоянное противоречие самому себе; и — вот вам самый подробный, кажется, облик прогрессиста, начатый Полевым, и с его легкой руки продолжающийся доселе, с небольшими изменениями и дополнениями.

Слава Богу, что Полевой, при таком складе своего образования, родился и вырос в русском купеческом семействе, где он мог видеть и усвоить себе примеры русского благочестия и православных обычаев. Это, без сомнения, спасло его от многих заблуждений, которые после того сделались принадлежностью русского прогрессиста. Впрочем, хотя он не «мудрствовал лукаво» о религиозных предметах, но увлекшись прогрессизмом, иногда — к сожалению —

заговаривался невопад и некстати в этом отношении. Например, вот что он говорит в одном месте своих «Очерков»: «Блажен поэт, ежели он умеет сознать, что царство его не от мира сего, по слову божественной мудрости, ежели он оценил блаженство своего душевного уединения, к которому придут поклоняться если не современники, то потомство». Согласитесь, что слова Спасителя в самом себе чересчур профанированы в применении их к поэту. Впрочем, Полевой сказал это без всякого худого намерения. Или вот и другой пример: «*Не умерла, но спит дева!*» — говорит человек, когда сей дух (т. е. дух испытательности и гибели) указывает ему на бесчувственную, или дикую, как дитя разрушения, поэзию нашего времени, — *спит*, и летают вокруг нее прекрасные видения мира лучшего, совершенствования земного, надежд грядущего, сквозь смертные сновидения, тревожащие ее в наше время».

Опять надобно согласиться, что и здесь слова Спасителя «не умерла, но спит дева» употреблены весьма некстати.

Что касается до противоречия самому себе, которое, со времени Полевого, сделалось характеристическою чертою наших прогрессистов, то за этим у него дело не ставало. Все его литературные «Очерки» стоят, можно сказать, из противоречий. Послушайте, ежели угодно, как он хвалит Державина, Карамзина.

Сперва — Державина:

«Преложения псалмов, оды вроде Ломоносова, подражания Горацию, Анакреону, — все, что делали современники Державина, делал и Державин. Величие его самобытных творений уничтожало сии подражания в глазах его самого и других». (*Значит, что подражания Державина были слабее самобытных его творений — ведь так?*) «Избыток самобытности вреден ему в этом случае, самобытность это и сила гения были причиною, что всякое подражание его ознаменовывалось печатью гения и изящества, коих тщетно будем искать у всех других русских поэтов, кроме Пушкина». (*Ну, так значит, подражания Державина были изящны, гениальны, — так ли?*) «В преложениях псалмов, подражаниях Горацию и Анакреону едва мелькает гений Державина». «Мы убеждены, что Державин был совершенно самобытен и неподражаем». «При Державине не настало еще время русской литературной самобытности». «Державин изумляет нас полнотою, с какою он весь проникается каждым предметом и воссоздает сей предмет в самом себе и в своем творении». «Ода Бог удовлетворяет полнотою, и вы не заметите (*слушайте! слушайте!*) как недостаточно (*при удовлетворительной полноте!!*), как неудовлетворительно ее основание». Одним словом: чему угодно, тому и верьте.

А вот и о Карамзине:

«Никто из русских писателей не пользовался такою славой, как Карамзин, и никто более его не заслужил сей славы. Подвиг Карамзина достоин хвалы и удивления. Никто из всех литераторов русских не может быть даже его преемником, не только подумать шагнуть далее Карамзина». «Карамзин был литератор, философ, историк прошедшего века, прежнего — не нашего поколения». *Следовательно — наше поколение шагнуло дальше Карамзина, — что ли?* «Как Карамзин сам был писатель не нашего века (*это написано в 1829 году, спустя два года по смерти Карамзина*), так и “Историю” его мы не можем назвать творением нашего времени». «Как философ-историк Карамзин не выдержит строгой критики». «Он и не прагматик». «Уже в названии его книги: “История Государства Российского”, заключается ошибка». «Едва ли не половину страниц его творения можно подвергнуть критике во многих отношениях, но нигде не откажете в похвале уму, вкусу, уменью Карамзина». «Карамзина должно почтить писателем образцовым, единственным, неподражаемым. Надобно учиться у него этому рифму ораторскому, этому расположению периодов, весу слов, с каким поставлено каждое из них». «Должно согласиться, что слишком уже заметно в Карамзине желание гармонии, видно усилие искусства, и это усилие вводит Карамзина в утомительное однообразие; применившись к нему, можете даже наперед указывать на него падения риторические, бить такт при чтении и подсказывать известные обороты и фигуры его». (Вот вам и «*образцовый, единственный, неподражаемый писатель*»!).

Так как в наших училищах (средних и высших, того времени, за исключением духовных) логика или вовсе не была преподаваема, или не везде и не всегда преподавалась, то и не удивительно, что наше юношество 1830-х годов, не получивши логического образования, увлекалось приговорами Полевого, усваивало себе взгляд его и приготавливало из своей среды подражателей ему. Недостаток логики и постоянное противоречие себе — вот общая примета литературного поколения, следовавшего за Полевым.

Свое недовольство существующим порядком вещей Полевой обнаружил, заклеивши русский патриотизм именем «квасного патриотизма» и восставши против построения «Истории Государства Российского», взамен которой он хотел было построить «Историю Русского народа». Впрочем, он, приблизившись к старости, старался оправдать себя в оклеветании им русского патриотизма и издал несколько патриотических драм, из которых видно, что у него была добрая, симпатичная русская натура, но он в юношеских припадках прогрессизма подавлял ее заимствованною и натянутою искусственностью.

Впрочем, драмы эти, иные говорят, были товаром на требования времени и обстоятельств.

Что касается до «Истории русского народа», то это «великое дело» не состоялось и принадлежит к предприятиям свыше сил, и к богатым посулам без исполнения.

Чрез 30 лет после исторической затее Полевого новый проповедник Истории русского народа вот что говорит о затее своего предшественника: «Когда все безмолвно поклонялось авторитету Карамзина, назад лет тридцать, явился смелый человек, выступивший на учено-литературное поле, больше с отвагою мысли (*смелость города берет*), чем с ученым авторитетом, — то был Полевой с его «Историей Русского народа». Названием, данным своему сочинению, он заявил требование, что История русского *государства* не достаточна, но необходима еще История народа».

Чем же это кончилось?

А вот чем:

«При быстро подвижной работе нашей мысли, — продолжает тот же автор, — многим едва ли известно (*sic!*) по имени это сочинение. — Одно только название осталось много занимательным для нас более всего от этого творения талантливого писателя».

Новый проповедник Истории русского народа (г. Костомаров), увлеченный «многознаменательностью названия» этой Истории, хотел разрешить заданный им самому себе вопрос: из чего должна состоять «История русского народа?» и после долгих усилий решил этот вопрос следующим образом: «Мы будем обращать (*в этой Истории*) внимание на такие явления, которые откроют нам нравственное бытие народа и его духовную (*полно, — духовную ли? может быть, душевную, или даже телесную*) деятельность. Что для историка, имеющего на первом плане государственную жизнь, составляет неважные черты, у нас будет предметом первой важности: так, например, повествования наших летописцев о неурожаях, наводнениях, пожарах и разных бедствиях, заставлявших народ страдать, о затмениях, о кометах, пугавших его воображение, для нашего способа изложения (Истории русского народа) будут гораздо важнее многого другого».

Вот наконец разоблачилась загадка «Истории русского народа!» Это будет — история неурожая, бывших на Руси, наводнений, пожаров, солнечных и лунных затмений и комет, — ну, почему же не прибавить еще сюда разбоев, драк, пирушек, убийств и других подобных народных *событий*, публикуемых в полицейских ведомостях?..

Одним словом, это будет «История нравственного быта народа и его духовной (?) деятельности»...

Нет, господа; ларчик гораздо проще открывается. Пускай себе русская История разделяется, как и прежде, по царствованиям: это ее самые природные грани. Но как, за описанием царствовавших лиц и веденных ими войн, наши историки вообще мало описывали русский народ с его этнографической стороны, то для полноты русской Истории требуется в ней побольше этнографии. Но как этнографических сведений о нашем народе, наипаче в древнем периоде его истории, мы имеем очень мало — по причине скупости древних летописцев на такие описания, то новейшие наши историки, начиная с Полевого, хотели бы составить этнографическую Историю России как-нибудь а priori, т. е. хотели бы «осмыслить» нашу Историю своими философическими построениями и наведениями, чтоб таким образом — свои фантастические догадки и «исторические ясновидения» возвести в перл создания à la исторические романы Вальтер Скотта. Это чрезвычайно трудно и на каждом шагу представляет великую борьбу для добросовестности исторической: а потому бедные мыслители приходят от того в страшную натугу, разрешавшуюся обыкновенно... пустяками, по известной пословице: parturiunt monies — nascitur ridiculus mus¹. По их мнению, вся беда от того, что русская История называется Историей не народа, но государства российского, и разделяется по царствованиям, а не как-нибудь иначе. Ну, не похоже ли это на ridiculus mus?.. *

Еще при жизни Полевого нашелся достойный преемник ему в лице Белинского, у которого только не хватило силы на продолжение

* Так смотрели на Полевого издали; как смотрели на него вблизи, читатели могут увидеть в «Москов. Вестн.», который издавал я в 1827–1830 гг., а потом в «Телескопе» (статья Аксакова, отца, Дмитриева Писарева, Каразина, Венелина, Пинского, Надеждина, Шевырева и проч.). Полевой основанием своего успеха обязан был картинкам мод, впервые у него появившимся, — а потом князю Вяземскому, который, впрочем, впоследствии от него отказался. Пушкин писал ко мне (августа 31, 1828): ...в «Телеграфе» похвально одно ревностное трудолюбие, — а хорошее — одни статьи Вяземского; но за то за одну статью Вяземского в «Телеграфе» отдам три дельных статьи «Московского Вестника». Его критика, положим, несправедлива, но образ его побочных мыслей и их выражений резко оригинальны; он мыслит, сердит и заставляет мыслить и смеяться: взаимное достоинство для журналиста».

Пушкин также, сначала довольно расположенный к Полевому, оставил его, особенно после «Истории русского народа», и писал ко мне: «Растолковали ли вы Телеграфу, что он... Ксенофонт Телеграф в бытность свою в Петербурге со мною в этом было согласился, но сие да будет между нами. Телеграф доброй и честной человек, и с ним я ссориться не хочу». *Прим. отг ред.* — М. П. <М. П. Погодин>.

Истории русского народа, а во всем прочем он был самым талантливым и усердным продолжателем Полевого. В некотором отношении он даже опередил своего учителя.

Белинский, подобно своему учителю, не кончил курса ни гимназии, ни университета. Это обстоятельство замечательно потому, что у нас, с некоторого времени, начали являться, один за другим, талантливые писатели именно между людьми, не кончившими курса учения, или кончившими неудовлетворительно. Невольно останавливаешься над вопросом: что мешало им учиться и доучиться? Училища ли наши так несчастливо устроены, что люди с талантом не могут учиться в них? Или, может быть, такая уж наша горькая доля, что почти все *наши прогрессисты* выходят из самоучек и недоучек?..

В Пензенской гимназии Белинский плохо учился; иностранные языки не дались ему; в классы ходил он неисправно, и в феврале 1829 года директорскою рукой был вычеркнут из списка учеников «за нехождение в класс». Недостаток школьного образования он вознаграждал домашним чтением и, имея страсть к русской литературе, «с жадностью читал тогдашние журналы, и всасывал в себя дух Полевого».

В августе 1829 года (т. е. именно тогда, как Полевой объявил, что все 12 томов сочиненной им «Истории русского народа» уже готовы и «лежат у него на столе», — чего, разумеется, вовсе не было) Белинский приехал в Москву, поступил в Университет, и — по-прежнему учился плохо. «Все его познания сложились из русских журналов не старше 20-х годов, и из русских же книг. Недостающее пополнилось тем, что он слышал в беседах с друзьями». «Это было то время, когда учение Гегеля сильно у нас разгорелось, когда адепты его ходили в каком-то восторженном от него упоении (*т. е. в одурении, — что ли?*) до того, что они вербовали в его школу и стариков, и юношей, и девиц. Но как Белинский был не тверд в немецком языке, то взялись посвящать его в начала Гегеля молодые гегелисты, в том числе Станкевич, изучившей глубже других немецкого философа». «Статьи Белинского 40-х годов, проникнутые философией Гегеля, это свидетельствуют». (*Хороша была эта философия Белинского а la Гегель, — нечего сказать!*)

К такому описанию умственного образования Белинского панегиристы его прибавляют еще следующее описание нравственно-физических его качеств: «При возражениях, или даже слушая разговоры, не к нему обращенные, но несогласные с его убеждениями, он скоро приходил в состояние кипятка. Сначала говорил он своим решительным, как бы рассерженным тоном, чем дальше, тем более горячился, почти выходил из себя, будто дело шло о жизни или смерти! Лицо его подергивалось судорогами... И всегда подверженный одышке, он

тут начинал каждый период всхлипыванием: в жарких же спорах случалось, что одышка или кашель совсем прерывали разговор» *.

А один из просвещеннейших современников Белинского, описывая не его собственно и лично, но вообще всех людей, подобных ему, вот какими чертами дополняет образ подобного человека: «Посмотрите на него, — что вы заметите в нем? Первее всего умственную надменность и презорство. Первое свойство его — судить и рядить обо всем, всем быть недовольным, всему предписывать законы, показывать себя всезнающим и ко всему способным. В отношении к высшим, священным истинам у него бывает не только отвращение, но и явная ненависть, так что ему крайне приятно подвергать их сомнению и осмеивать тех, кои свято их держатся, говорить и писать против всего священного. Все пересуждать, опровергать, извращать — есть его неизбежное свойство. С таким духом и бесстыдством, при некоторой способности и познаниях, удивительно ли прослыть иногда умником? Порок из дарований этих людей извлекает ту для себя выгоду, что, опираясь на их личность, выдает мрачное знамя свое за хоругвь мудрости. Но над такими многоучеными людьми постоянно висит что-то мрачное; они задумчивы, их взор бегл и мутен; в них нет душевной ясности; их движения беспокойны, предприятия нерешительны, самые радости мрачны и пусты. Посему, когда встретите вы такого жалкого умника, который осмеливается глумиться над священными истинами, то не вступайте с ним в спор; вы не можете разогнать в душе его тьмы адской; а если возможно, возьмите его за руку и скажите с сожалением: ах, любезный брат, как дошел ты до такого ужасного состояния? Да воссияет над тобою свет Христов! Скажите так и помолитесь за него с усердием Тому, Который Един может извести его из тьмы в чудный свет Свой» **.

Не окончивши университетского учения, Белинский из Москвы переехал в Петербург. Журналистику он почитал своим призванием. На этом поприще он начал отличаться еще в Москве, но достиг апогея своей славы в Петербурге, в «Отечественных записках».

Отдадим ему долг справедливости: это был талант, хотя худо образованный, не укрепленный здравою наукой, и — что всего хуже — не согретый святою Верой, но все-таки талант замечательный, — скорописец и краснописец, увлекательный софист, предприимчивый и смелый, неутомимый, ловкий и бойкий. Но ко всем этим

* Заметка для биографии Белинского в 17 № «Московского вестника» 1859 года. Новые материалы для биографии Белинского в литературном отделе «Московских ведомостей» 1859 года № 134².

** *Иннокентий, архиепископ Херсонский*. О грехе и его последствиях. Стр. 82, 87, 88, 99, 101, 102, 104, 105.

достоинствам и беспорядкам умственного настроения Белинского присоединялось, по несчастью, еще одно зло, не испытанное Полевым: *Белинский писал по заказу и по найму*. Неизвестно, у него ли самого был такой несчастный склад ума, что он беспрестанно *отрицал* «и ничего во всей природе благословить он не хотел», — или находили в таком отрицании особенную коммерческую выгоду журналисты, и заказывали ему *так писать*? Всего вероятнее первое; по крайней мере, и в том и в другом случае положение Белинского вполне достойно сожаления. Иногда и у него выглядывают прекрасные страницы, согретые такою душевною теплотой, прямо вылившиеся из сердца, — и это сердце так способно было к святым чувствованиям, что невольно вздохнешь и скажешь: ах, какого даровитого человека погубили несчастное воспитание и журнальная торговля!.. За такими утешительными страницами у него следует опять отрицание...

Известное письмо Белинского к Гоголю должно быть названо его *profession de foi*³, здесь он уже от себя самого, а не по заказу высказал свой собственный образ мыслей. И — какие же это ужасные мысли!.. Вы помните эти возмутительные слова: «византийские бредни» и проч., и вообще о «попах»... Да простит ему милосердый Бог грех этого письма! А мы, при этом случае, должны объясниться о тех печальных явлениях византийской истории, которых мрачную тень хотели бы псевдопрогрессисты набросить на божественную религию, принятую нами из Византии. Византия была — говорят — столицей теологических споров, ересей и расколов. Напрасно приписывают это одной Византии: соблазны, ереси и расколы начались гораздо прежде. Еще Сам Спаситель сказал: не возможно не прийти соблазнам; но горе тому, чрез кого они приходят. Блажен, кто не соблазнится о Мне. Оставьте расти вместе то и другое (плевелы и пшеницу) до жатвы, и во время жатвы Я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, для сожжения их, а пшеницу уберите в житницу Мою*. А ученики Спасителя, при самом начале распространения христианской веры, уже замечали и говорили, что как прежде были лжеучители в народе, так и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами себе погибель. И многие будут следовать их разврату, и из-за них путь истины будет в поношении**. Другой ученик говорил так: ныне уже много антихристов. Они вышли от нас, но не были наши. Не всякому духу веруйте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Многие обольстители пришли в мир,

* Лук. XVII, 1 — Матф. XI, 6, XIII, 30.

** 2 Петр. II, 1, 2.

не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти *. Третий апостол вот что заметил в свое время: вкрались некоторые люди, давно предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в случаи к распутству, ругатели, поступающие по своим нечистым похотям, отделяющие себя от единства веры, душевные, без духа **.

Ежели и во времена апостольские начинались уже соблазны, ереси и расколы, то не удивительно, что в последующее за тем время, в Византии было много этих плевел. *Невозможно не прийти соблазнам*: такова наша падшая природа. Но — вот что достойно замечания и крайнего сожаления: на отжившую свой век Византию нападают теперь некоторые умники за ее теологические споры и разделения, и никто не хочет обратить внимание на современное нам протестантство в Германии, Англии и Америке, которое разделилось и постоянно разделяется на такое великое число сект и учений, что с этим числом не могут сравниться все минувшие споры и ереси византийские. Вот же протестантство не только не упрекают в ересях, но, пожалуй, готовы назвать очищенной религией, а бедная Византия доселе виновата. Не мешало бы подобным обвинителям припомнить из истории следующие два факта; о седми Вселенских соборах, и о введении христианской веры в Россию. Тогда бы они вспомнили, что Вселенские соборы очистили Православную церковь на Востоке от всех плевел, и во-вторых — что Россия приняла православную веру из Византии уже после семи Вселенских соборов.

Другой упрек Византии делают за кровавые беспорядки ее престолонаследия и за частые узурпации, если не всегда вспомоществующие, то и не всегда противоборствуемыми тамошним духовенством и клиром. С одной стороны, в этом упреке есть доля правды, но, с другой стороны — посмотрите и объясните вы следующее непонятное явление во всемирной истории: Восточная Римская (или Византийская) империя, при всех кровавых сценах престолонаследия, при всех узурпациях, при всех теологических спорах, раздиравших ее, и даже при всем напоре варваров, нападавших на нее со всех сторон, простояла еще почти тысячу лет (476–1458) после падения Западной Римской империи: как же это случилось?.. Историки объясняют это счастливою местностью Константинополя, мудростью императоров и храбростью полководцев. Но счастливая местность Византии сильнее только побуждала варваров добраться до этой богатой и роскошной столицы образованного мира; на одного мудрого императора в греческой

* 1 Иоан. II, 18, 19. IV, 1–2 Иоан. I, 7.

** Иуд. I, 4, 18, 19.

империи причиталось несколько таких, которые не могли похвалиться этим качеством, а храбрых полководцев было так не много и не в каждом столетии были они. Нет! есть другая причина: *семья свято — стояние царства!* Без сомнения, и между императорами византийскими, и между пастырями тамошней церкви, и в клире, и в народе, среди окружавшего их нечестия и разврата, было еще столько истинной веры и благочестия, что правосудный Бог, ради сих своих избранных, так долго щадил империю и не допускал ее до падения. Вот на это дивное обстоятельство следовало бы обратить испытательное внимание, а не бродить вкривь и вкось о священных предметах, которых не понимает ум, образованный неправославно.

Что касается до ненависти Белинского к духовенству, или — как он говорит — к «попам», то никогда не должно забывать, что это сословие, хотя призванное к высочайшему служению, состоит все-таки не из ангелов, но из подобострастных нам человек; следовательно — нападки на это сословие не гуманны и не делают чести ни уму, ни сердцу того, кто с озлоблением осуждает их. Большею частью бывает так, что не столько ненавистны для некоторых личностей «попы», сколько ненавистно великое дело служения, к которому призвано это сословие.

В озлобленном состоянии духа Белинский начал свое литературное поприще, в таком же, кажется, — и кончил. Начал он в 1834 году с «Литературных мечтаний (элегия в прозе)». Со второй страницы своей элегии он начал все осуждать, все ломать: сперва напал на Пушкина и Козлова (тогда еще живых), зачем они перестали так хорошо писать, как прежде писали, потом — на Кукольника, Брамбеуса, Булгарина, Греча и на покойников Сумарокова и Хераскова. Намекая на кого-то другого (кажется, на Брамбеуса), он как будто сам для себя там же (страница 12) начертал следующую программу: «У нас всякая смывленость, вспомоществуемая дерзостью и бесстыдством, приобретает себе громкую известность, нагло ругаясь над всем святым и великим. Пиши, говори, кричи всякий, у кого есть хоть сколько-нибудь бескорыстной любви к отечеству, к добру и истине, не говорю познаний (*познаний — видите — не надобно!*), ибо многие печальные опыты доказали нам, что в деле истины, познания и глубокая ученость совсем не одно и то же с бескорыстием и справедливостью». — Стало быть — «познания и глубокая ученость» не нужны в деле истины, потому что на них иногда падает подозрение в «корыстолюбии и несправедливости»: вот какая логика!

Осудивши (стран. 13–19) прежних критиков за то, что они свои обозрения русской словесности начинали «от яиц Леды», сам Белинский начал свое обозрение именно «от построения мира». По его мнению (стр. 19). Бог есть идея, «которая воплощается в блестящее

солнце; в великолепную планету, в блестящую комету; она живет и дышет — в бурных приливах и отливах морей, и в свирепом урагане пустынь, и в шелесте листьев, и в журчании ручья, и в рыкании льва, и в слове младенца, и в улыбке красоты, и в воле человека, и в стройных созданиях гения»... «Эта идея (стр. 20) мудра, ибо все предвидит, все держит в равновесии. Она не только мудра, но и любящая! Не забывай, человек, что божественная идея, тебя родившая, справедлива, что она дала тебе ум и волю»... и прочее в таком же пантеистическом роде.

После того наш критик, без всякой связи с предыдущим, разговорился (стр. 28) о самобытности каждого народа; а потом дошедши в своем обозрении до театра, пришел в пафос, и восклицает: «Театр!.. о, ступайте, ступайте в театр! живите и умрите в нем, если можете!»

Спасибо Белинскому за то, что он в конце своей статьи (стр. 129) сам оценил ее следующими словами: «Начав писать эту статью, я имел в предмете позубоскалить над современною нашею литературой». Не к такому ли *зубоскальству* принадлежат и другие многочисленные софизмы и парадоксы, рассыпанные щедрою рукой во всех XII томах сочинений Белинского, например, хоть бы такие:

«Творчество бесцельно с целию, бессознательно с сознанием, свободно с зависимою: вот основные его законы!»

«Нравственность в сочинении должна состоять в совершенном отсутствии притязаний со стороны автора на нравственную, или безнравственную цель».

«Русская литература только что начинается, но ее еще нет,— и начинается она с Пушкина, а до него не было русской литературы».

«Мертвые бывают и между живыми, так же как и живые между мертвыми; ибо что жизнь для животного, то смерть для человека»*.

Уф! довольно. Благодарить ли гг. Солдатенкова и Щепкина за то, что они собрали и издали сочинения Белинского, рассеянные в журналах?.. По крайней мере, трудно решить: кому этим изданием они оказали *услугу*. Сочинения Белинского, состоящие из критик и рецензий, для знатоков русской литературы бесполезны, а для учащейся молодежи вредны, потому что построены большею частью без логического основания и испещрены софизмами и парадоксами. Издание этих книг доказывает только ту грустную истину, что мы еще довольно молоды, ежели у нас есть охотники до чтения *молодецких* сочинений Белинского.



* Сочин. Белинского. Ч. I, стр. 209–228. Часть IV, стр. 217, 218 и след.